



Когда я умирала



## ДАРЛ

Мы с Джулом идем тропинкой через поле, друг за другом. Я впереди на пять шагов, но, если посмотреть от хлопкового сарая, видно будет, что растрепанная и мятая соломенная шляпа Джула — на голову выше моей.

Тропа пролегла прямо, как по шнуру, ногами выглаженная, июлем обожженная, словно кирпич, между зелеными рядами хлопка, к хлопковому сараю, огибает его, сломавшись четырьмя скругленными прямыми углами, и дальше теряется в поле, утопанная и узкая.

Хлопковый сарай сложен из нетесаных бревен, замазка из швов давно выпала. Квадратный, с просевшей односкатной крышей, пустой, сквозной и ветхий, он клонится под солнцем, и оба широких окна его смотрят из супротивных стен на тропинку. Я сворачиваю перед сараем и огибаю его по тропинке. Джул сзади в пяти шагах, глядя прямо перед собой, вошел в окно. Он глядит прямо вперед, светлые глаза будто из дерева на деревянном лице, и, в четыре шага пройдя сарай насквозь, негнувшийся и важный, как деревянный индеец на табачном киоске, неживой выше пояса, выходит через другое окно на тропинку, как раз когда я выхожу из-за угла. Друг за другом в двух шагах, — только теперь он первым, — мы идем по тропинке к подножию обрыва.

Повозка Талла — у родника, привязана к перилам, вожжи захлестнуты за сиденье. В повозке два стула.

Джул останавливается у родника, снимает с ивовой ветки тыкву и пьет. Я миную его и, поднимаясь по тропинке, слышу, как пилит Кеш.

Когда я выхожу наверх, он уже перестал пилить. Стоит в стружках и примеряет одну к другой две доски. Между теньями они желтые, как золото, мягкое золото, на них плавные ложбины от тесла: хороший плотник Кеш. Он опер обе доски на козлы, приставив к начатому гробу. Стал на колени и, прищуря один глаз, смотрит вдоль ребра, потом снимает доски и берет тесло. Хороший плотник. Лучшего гроба и пожелать бы себе не могла Адди Бандрен. Ей там будет спокойно и удобно. Я иду к дому, а вслед мне: тюк, — тесло Кеша. — Тюк. Тюк.

## КОРА

Ну вот, подкопила яиц я и вчера испекла. Пирогих удались на славу. Куры нам — большое подспорье. Они хорошо несутся — те, которых оставили нам опоссумы и прочие. Змеи еще, летом. Змея разорит курятник быстрее кого угодно. А раз обошлись они нам гораздо дороже, чем думал мистер Талл, и я обещала разницу покрыть за счет того, что они несутся лучше, мне приходилось яйца экономить, — ведь я же настояла на покупке. Мы могли бы взять кур подешевле, но мисс Лоуингтон советовала завести хорошую породу — я и пообещала, тем паче мистер Талл сам говорит, что коровы и свиньи хорошей породы в конце концов окупаются. А когда мы столько кур потеряли, самим пришлось от яиц отказаться, — не слушать же мне от мистера Талла попреки, что это я настояла на покупке. Тут мне мисс Лоуингтон сказала о пирогах, и я подумала, что могу испечь и зараз получить чистой выручки столько, сколько стоили бы

еще две куры вдобавок к нашим. Если откладывать по яичку, то и яйца ничего не будут стоить. А в ту неделю они особенно неслись, и, кроме продажных, я и на пироги скопила, и сверх того столько, что и мука, и сахар, и дрова для плиты нам как бы даром достались.

Вот вчера я испекла — и уж так старалась, как ни разу в жизни, на славу пироги удались. Нынче утром привозим их в город, а мисс Лоуингтон говорит, что та дама передумала и гостей звать не будет.

— Все равно должна была взять, — говорит Кэт.

— Ну, — говорю, — на что они ей теперь?

— Должна была взять. — Кэт говорит. — Конечно, богатая городская дама, ей что? — захотела и передумала. Это бедным нельзя.

Богатство — ничто перед лицом Господа, потому что Он видит сердце.

— Может, в субботу на базаре продам, — говорю. — Пироги удались на славу.

— Можешь получить за них по два доллара, — говорит Кэт.

— Да они мне, можно сказать, ничего не стоили. Яйца я накопила и обменяла дюжину на муку и сахар. Так что пироги, можно сказать, ничего не стоили, и мистер Талл сам понимает: отложила я сверх того, что на продажу, — можно считать, нашли их или в подарок получили.

— Должна была взять пироги, — говорит Кэт, — ведь она все равно что слово тебе дала.

Господь видит сердце. Если так Он захотел, что у одних людей одно понятие о честности, а у других другое, то не мне Его волю оспаривать.

— Да на что они ей? — говорю. А пироги удались на славу.

Одеялом накрыта до подбородка, наружу только голова и руки. Она лежит на высокой подушке, чтобы

смотреть в окно, и каждый раз, когда он берется за пилу или топор, мы его слышим. Да и оглохни, кажется, а взглянуть только на ее лицо — все равно услышишь его и почти что увидишь. Лицо у нее осунулось, кожа обтянула белые валики костей. Глаза истаивают, как два огарка в чашечках железных подсвечников. Но вечной благодати нет на ней.

— Пирогии удались на славу. — Я говорю. — Но Адди пекла лучше.

А как девчонка стирает и гладит, — если это и вправду глаженое, — видно по ее наволочке. Может, хоть тут поймет свою слепоту — когда слегла и жива только заботами и милостями четверых мужчин и сорванца-девчонки.

— У нас тут никто не умеет печь, как Адди Бандрен, — говорю. — Оглянуться не успеем, как она встанет на ноги, примется печь, и тогда нашу стряпню никому не сбудешь.

Бугорок от нее под одеялом не больше, чем от доски, и, если бы не шелест шелухи в матрасе, нипочем не догадаться, что дышит. Даже волосы у щеки и те не колыхнутся, хотя девчонка стоит прямо над ней и обмахивает веером. У нас на глазах, не переставая махать, поменяла руку.

— Уснула? — спрашивает Кэт.

— На Кеша смотреть не может, — говорит девчонка.

Слышим, как вгрызается в доску пила. С храпом. Юла повернулась на сундуке и смотрит в окно. Красивые на ней бусы и к красной шляпе идут. Не скажешь, что стоили всего двадцать пять центов.

— Должна была взять пироги, — говорит Кэт.

Деньги эти я бы с толком употребила. А пироги мне, кроме работы, можно считать, ничего не стоили. Скажу ему: промашка у каждого может случиться, но не каждый, скажу, выйдет после нее без убытка. Не все, скажу, могут съесть свои ошибки.

Кто-то идет по передней. Это Дарл. Прошел мимо двери, не заглянув, и скрывается в задней части дома. Юла смотрит на него, когда он проходит. Рука у нее поднялась, трогает бусы, потом волосы. Заметила, что я за ней наблюдаю, и сделала пустые глаза.

## ДАРЛ

Папа и Вернон сидят на задней веранде. Оттянув двумя пальцами нижнюю губу, папа ссыпает за нее молотый табак с крышки табакерки. Они обернулись и смотрят на меня, а я перехожу веранду, опускаю тыкву в кадку с водой, пью.

— Где Джул? — спрашивает папа.

Еще мальчишкой я понял, насколько вкуснее вода, когда постоит в кедровой кадке. Прохладно-теплая и отдает жарким июльским ветром в кедровой роще.

Она должна постоять хотя бы часов шесть, и пить надо из тыквы. Из металла никогда не надо пить.

А ночью она еще вкусней. Я лежал на тюфяке в прихожей, ждал, и, когда они все засыпали, вставал и шел к кадушке. Кадушка черная, полка черная, гладь воды — круглый проем в ничто, и, пока не зарябилась от ковша, видишь звезду-другую в кадке и в ковше звезду-другую, пока не выпил. Потом я подрос, повзрослел. Ждал, чтобы уснули, и лежал, задрав подол рубашки, слышал, что спят, осязал себя, хотя не трогал себя, чувствовал, как веет прохладная тишь на мои члены, и думал: не занят ли этим же в темноте Кеш, не занялся ли этим года за два до того, как я захотел заняться.

У папы ноги растоптанные, пальцы кривые, корявые, гнутые, а мизинцы совсем без ногтей, — оттого что мальчишкой подолгу работал в сырых самодельных туфлях. Его башмаки стоят возле стула. Как будто вы-



рублены из чугуна тупым топором. Вернон был в городе. Чтобы он поехал в город в комбинезоне, я ни разу не видел. Говорят: это все жена. Тоже была когда-то учительницей.

Я выплеснул опивки из ковша на землю и утерся рукавом. К утру дождь пойдет. А то еще и до ночи.

— В хлеву, — отвечаю. — Запрягает мулов.

С конем своим он возится. Пройдет через хлев на выгон. Коня не видно: он в сосновых посадках, в холodge. Джул свистит, пронзительно, один раз. Конь всхрапывает, и Джул видит его: мелькнул, весело лоснясь, среди синих теней. Джул опять свистит; конь ссыпается по склону, упираясь передними ногами; острыми ушами прыдет, разноцветными глазами водит — и остановился боком к Джулу, шагах в десяти, глядит на него через плечо, в игривой и настороженной позе.

— Давай-ка сюда, почтенный, — говорит Джул. И срывается с места. Стремительно: полы отлетели назад, треплются языками, как пламя. Развевая гриву и хвост, вскидываясь и кося глазом, конь отбегает недалеко и снова останавливается, собрав ноги; смотрит на Джула. Джул медленно идет к нему, не шевеля руками. Если бы не двигались ноги Джула, эти две фигуры на солнце — как живая картина.

Когда Джул подходит к коню почти вплотную, конь взвизгивает на дыбы и норовит ударить его копытами. Джул заключен в поблескивающий копытный лабиринт, словно обнят призрачными крыльями; между ними, под закинутой грудью, он движется со взрывчатой гибкостью змеи. За миг до того, как рывок отдастся в его руках, он видит со стороны свое тело, вытянувшееся над землей в змеином всхлесте; поймал ноздри коня и снова стоит на земле. Застыли в неимоверном напряжении: конь будто пятится, и бедра

его вздрагивают от натуги; Джул, вросший ногами в землю, душит коня, одной рукой захватив ноздри, а другой часто и ласково гладит его, осыпая грязной, яростной бранью.

Длится миг неимоверного напряжения; конь дрожит и стонет. Но вот Джул у него на спине. Сгорбясь, взвился в воздух, словно бич, и еще в полете приладил тело к коню. Мгновение конь стоит, расставив ноги, с опущенной головой, потом бросается вскачь. Джул высоко, как пиявка на холке, а конь тяжелыми прыжками несется вниз по склону и, засеменя, останавливается перед изгородью.

— Ну, — говорит Джул, — хватит, если наигрался.

В хлеву Джул соскакивает на ходу. Конь входит в стойло, Джул за ним. Не оглянувшись, конь пробует лягнуть его, и копыто с пистолетным грохотом ударяет в стену. Джул пинает его в брюхо; конь, оскалась, поворачивает голову; Джул бьет его по морде кулаком, потом, проскользнув вперед, вскакивает на корыто. Держась за ясли, он опускает голову и смотрит поверх перегородок в дверь. На тропинке никого, отсюда не слышно даже пилы Кеша. Он тянется вверх, торопливо стаскивает охапками сено и наталкивает в ясли.

— Жри. Ну-ка живет подметай, гад толстопузый, пока не отняли. Сучёнок мой хороший, — говорит он.

## ДЖУЛ

Все потому, что он торчит под самым окном, пилит, колотит по чертову ящику. У нее на глазах. И каждый вздох ее полон этого стука и ширканья, и все у нее на глазах, а он долбит ей: «Видишь? Видишь, какой хороший тебе строю?» Я ему сказал, чтобы перешел на другое место. «Ты что, ей-богу, вколотить ее туда хочешь?» —

говорю. Вот так же раз, когда он был мальчишкой, она сказала: «Было бы удобрение, я цветы бы посадила», — а он взял хлебный противень и принес из хлева полный навозу.

И эти теперь расселись, как стервятники. Ждут, обмахиваются. Я сказал: «Ну что ты стучишь и пилишь, человеку уснуть невозможно», — а у нее руки на одеяле — будто выкопал кто два корешка, помыть хотел, да не отмываются. Вижу веер и руку Дюи Дэлл. Дай ей покой, говорю. Стучат, и пилят, и воздух над лицом гоняют, так что усталому человеку вдохнуть некогда, и тесло это чертово знай себе: щепку долой. Щепку долой. Щепку долой, — чтобы каждый прохожий на дороге остановился, посмотрел и сказал: какой хороший плотник. Моя бы воля, когда Кеш упал с церкви или когда на отца воз дров свалился и он лежал хворал — моя бы воля, не было бы такого, чтобы каждая сволочь в округе приходила поглазеть на нее, потому что если есть Бог, то на кой тогда Он нужен. Были бы я и она, двое, на горе, и я бы камни катил им в морду, подбирал и бросал с горы, в морду, в зубы, куда попало, ей-богу, пока она не успокоилась бы и не стучало бы чертово тесло: щепку долой. Щепку долой, и мы успокоимся.

## ДАРЛ

Смотрим, как он огибает угол и поднимается по ступенькам. На нас не глядит.

— Готов? — спрашивает.

— Если ты запряг, — отвечаю. Говорю: — Погоди.

Стал, смотрит на папу. Вернон сплевывает, не шеvelyсь. Сплевывает с чинной неторопливостью, прицельно, в рябую пыль под верандой. Папа потирает

колени. Глядит куда-то за обрыв, на равнину. Джул посмотрел на него еще немного, потом идет к ведру и снова пьет.

— Пуще всех не люблю нерешенного дела, — говорит папа.

— Это же три доллара, — говорю я.

Рубашка на горбу у папы выгорела сильнее, чем в других местах. Пота у него на рубашке нет. Ни разу не видел потного пятна у него на рубашке. Ему было двадцать два года, и он заболел оттого, что работал на солнце, а теперь объясняет всем, что если еще раз вспотеет — умрет. По-моему, сам в это верит.

— Но если она отойдет, до того как вернетесь, — говорит папа, — ей будет обидно.

Вернон сплевывает в пыль. А дождь к утру пойдет.

— Она рассчитывала на это, — говорит папа. — Она захочет ехать сразу. Я ее знаю. Я ей обещал, что упряжка будет на месте, и она на это рассчитывает.

— Три доллара нам тогда сильно пригодятся. — Я говорю.

Он глядит на равнину и потирает колени. С тех пор как у папы выпали зубы, он будто медленно жует губами, когда опускает голову. Из-за щетины он напоминает лицом старую собаку. Я говорю:

— Ты поскорей решай, чтобы мы до темноты туда успели и погрузились.

— Мама не такая плохая. — Джул говорит. — Не болтай, Дарл.

— В самом деле, — говорит Вернон. — Сегодня она больше на себя похожа — за всю неделю такой не была. Когда вы с Джулом вернетесь, она уж сидеть будет.

— Тебе лучше знать, — говорит Джул. — То и дело ходите, смотрите. То ты, то родня твоя.

Вернон смотрит на него. У Джула на румяном лице глаза будто из светлого дерева. Он на голову выше нас